

ПИСЬМА ОЛЬГИ СЕДАКОВОЙ К ИННЕ ВОЙЦКОЙ (1995–1998)

О «даре и труде проникновения»: поэт – философу

Москва, 29 января 1995

Дорогая Инна, здравствуйте!

Дима и Игорь привезли мне книгу «Такая жизнь», и я впервые прочла в ней вторую часть Вашей работы – и не могу не написать Вам об огромной благодарности, которую она вызывает. Так многое Вами понято – и названо порой точнее, чем я могла бы. Среди такого – о роскоши аскезы. В самом деле, я никогда не могла объяснить, почему мне настолько неприятно, когда за аскезу принимают тупое воздержание от «излишнего», абстиненцию. О, Вы совершенно справедливо отмечаете это не слишком христианское «они» в моей мысли. И когда путают такие вещи, как аскезу – и скупость к себе (мой духовный отец как-то сказал, что воздержание нарушается в две стороны, а не в одну, как часто думают, т.е., невоздержанием от дурного: воздержание от прекрасного – такое же нарушение), или смирение – и забитость и т.п. и т.п... я, к сожалению, не могу не думать об этом жестокого «они», а не покаянного «мы». Благодаря Вашей работе, я увидела эту свою – травму? ожесточенность? – плод существования в чужом окружении, очень чужом и очень долго. Когда я в Университете читала лекции о Данте, то говорила, что при всех его (Данте) распрях со своим временем и своей Флоренцией, ветер времени дул в его паруса. А здесь все ветры дули против. Так же вспоминает свое детство и юность С. С. Аверинцев. Последние годы, когда эти «они» перестали так агрессивно враждовать со всем, что мне дорого, не изгладили памяти прошлого... Единственно насчет «Мученика» я могу сказать, что никакого выбора в леонтьевском духе там не предлагается: просто перебирается самое жуткое, что можно представить. Приведенная вами дилемма, по-моему, отвратительна – и искусственна (как, на мой взгляд, и дилемма Достоевского «быть с истиной» – или «со Христом»).

Сейчас поминальные дни, смерть Бродского. Он не был мне близок, но его кончина неожиданно глубоко на меня подействовала. Печально.

Я была бы очень рада, Инна, если бы Вы мне написали. Мне кажется, нам есть о чем поговорить.

Еще раз спасибо Вам.

Храни Вас Господи!

Ваша О.

<Москва>, 20 сентября 1995

Дорогая Инна!

Я хочу написать Вам мою глубочайшую благодарность. Я прочла Ваше «Чудо как нравственный долг» – и точнее проникновения не то чтобы в достигнутое моих писаний, но в их интенцию я не могу вообразить. Хотя бы «ученость»: кто это поймет? Сколько про эту несчастную ученость мне приходилось слышать глупостей (и критических, и наоборот, в зависимости от ценностей говорящего)!

И о ней Вы сказали то, чего я не могла выразить отчетливо, но переживала именно так, как Вы сказали. Не как «обогащение», а наоборот, как очищение от лишнего. Это удивительная радость, подарок понимания. Честно сказать, я не надеялась на него. Я вспоминаю наши встречи и думаю, что вряд ли вела себя и говорила, как нужно. Да при

всех перемен в отношении к «я» эстетическое раздвоение, которое описал Пушкин (Пока не требует поэта), не преодолевается. Извините за мое тогдашнее пустословие.

Я очень рада, что Вы встретились с Анной Великановой. Последние годы она моя ближайшая подруга, и Вы сами видели, какой она чудесный (в нестертом смысле этого слова) человек. Она очень полюбила Вас и рассказывала мне о Вашем колледже с восхищением.

Я знаю про Вас и думаю о Вас, всей душой желая Вам помощи. Если Вы найдете возможность написать мне, заранее спасибо.

Но еще раз спасибо за Ваш дар и труд проникновения.

Храни Вас Господь и Пресвятая Богородица.

С любовью,

Ваша О.

Разрешите послать Вам маленькую вещицу.

Москва, 1 мая 1996

Христос Воскресе!

Милая Инна,

вот уже близко Преполовление, а я только собралась Вас поздравлять.

Прежде всего, хочу попросить у Вас прощения за резкость и раздражительность в те дни, когда Вы у меня были. Теперь я чувствую себя виноватой. Простите!

Спасибо за Ваши ответные страницы Н. Славянскому. По-моему, все очень точно. И поэтому, видимо, неприемлемо для прессы. А. Великанова попыталась показать это в «Знамени», но там не до того. Объем, говорят, велик. И всё. Ох, я знаю хорошо и их, и других журналов возможности... Но Бог с ними. Вам спасибо. Ведь в конце концов можно и поверить, что только так, как в Н. Славянском, «наше слово отзовется». И тогда (слово ли в этом виновато, или слух, неважно) продолжать такую коммуникацию не тянет.

Наверное, Вы уже сами разобрались со сном, который мне написали. Вряд ли мне что-нибудь в нем понятно. Не обижайтесь, пожалуйста, на мою неспособность различать что-то в душевной жизни. Это было бы с моей стороны простое шарлатанство. На днях в разговоре с В.В. Библихиным (он очень хворает и сейчас совсем плох: вчера на лекции упал в голодный обморок; говорят, необходима операция на желудок, но он сопротивляется) мы предположили, что в себе есть и для себя недостижима – какая-то зона замкнутости, отказа жить, и там коренится болезнь. Кажется, что её разомкнуть может только сила извне – и в какой-то мере это и происходит на исповеди. Не дела и даже не помыслы, а вот это фундаментальное «нет!» и должно отмениться. Не знаю, согласился бы с нами отец Димитрий или нет. Во всяком случае, то, как он мне помогал в разное время, я так переживала: как разрешение от каких-то уз, которые в себе до этого момента и не понимал.

Позавчера я вернулась с Урала: в Перми и в Челябинске были вечера, в околоуниверситетской среде. Были приятные люди и – вопреки моим опасениям – никаких демаршей местных постмодернистов. Сами-то постмодернисты были, но вели себя мирно.

А теперь собираюсь в Финляндию на Хлебниковские дни: они будут в Ново-Валаамском монастыре. Можете себе вообразить такие дни в каком-нибудь здешнем монастыре? Там, за рубежами государства, русское Православие помирилось с русской культурой и ничего похожего на критику светского сочинения в духовной перспективе (как Блок у Флоренского) уже не бывает. Критика не рассекающая там (со стороны

церковных лиц), а привлекающая, так скажем. И в Хлебникове найти что-то, и всюду. Русский батюшка в Риме, например, на исповеди цитировал Мамардашвили (неканоничность которого Вы так видите). Пожалуй, мне ближе такая дружелюбная позиция – при условии, что она серьезна, а не либерально-равнодушна. Впрочем, и «либеральный» для меня слово не плохое, если помнить его исходные значения («щедрый», «учтивый» – liberalis).

Инна, еще раз я благодарю Вас и еще раз прошу прощения.
Храни Вас Бог.

Ваша О.

Поклон Вашему колледжу и домашним.
Посылаю Вам открытку с теперь знакомым Вам Николой в Хамовниках.

Москва, 27 мая 1996

С наступающей Троицей!

Дорогая Инна,
Спасибо за Достоевского!

Мне очень понравилась эта вещь, всерьез – и я нахожу в ней новое для себя. Хочется вслед за этим увидеть развитие только намеченной Вами здесь темы – «вера двадцатого века». Кстати, видели ли Вы доклады об Инквизиторе (Яннараса, Аверинцева, Бибикина и мой), опубликованные в «Искусстве кино»?

Пишу на бумаге из Ново-Валаамского монастыря в Финляндии, где недавно побывала (уже второй раз). Там была конференция о Хлебникове, Елене Гуро и вообще авангарде (представляете себе что-нибудь подобное в каком-нибудь из здешних монастырей?) Кроме филологов, приглашены были Е. Шварц, В. Кривулин и я, почитать стихи. Лет 6 не видела я братьев-поэтов, и увидела все то же. Тяжело это. Богема – ужасный род существования. Что, конечно, не новость. С меня хватит встреч с текстами: авторов не хочется встречать слишком часто.

Сейчас я собираюсь в Рим, может быть, на месяц. Сначала на конференцию про постмодернизм (созываемую Папской культурной комиссией): как из него выбраться и куда? А потом в качестве переводчика собираюсь пожить в иезуитском центре в Риме (переводить или редактировать русские переводы их сочинений о Православии). Странно все получается, но все совершенно не мной предпринимается, все эти странствия. Поэтому я с удивлением соглашаюсь. Валаам? Хорошо. Иезуиты? пожалуйста...

Кстати, в Валааме (Новом) жил один из моих любимейших духовных «писателей» (он писал только письма), старец Иоанн. Мы читали его письма еще в самиздате, в 60-е годы. (Умер он в 50-х). Это зосимовское православие. Теперь письма эти изданы. Если встретится Вам («Письма валаамского старца»), посмотрите. Бог даст, покажу Вам как-нибудь. Вот такое я называю глубиной, простое, как вода. Это та стихия, которую я люблю в бабушке и в отце Димитрии. И какого века эта вера? Похоже, она была той же при авве Дорофее. И похоже, никогда не была широко распространенной – и в прежние времена оставалась горчичным зерном, как теперь.

Я желаю Вам всего доброго. И везде, и в мысли. Помогите Вам Господи!

Простите, пожалуйста.

Ваша О.

Азаровка, 6 июня 1997

Поздравляю Вас с Троицыным днем!

Дорогая Инна!

Спасибо Вам за письмо и статью! Ваша работа произвела на меня сильное впечатление. Мне кажется, она достойна всеобщего внимания, ничего серьезнее на эту тему мне не доводилось читать. О всеобщем внимании – не пустая фраза. Я думаю, где бы для неё можно было найти место, чтобы её прочли те, кто оценит. Может быть, упомянутый Вами «Символ»? Я знакома с его редактором. Может быть, предложить? Кстати, я не заметила у Вас никаких отсылок к знаменитой статье «Символ» С. С. Аверинцева в КЛЭ, т. 6. Многие моменты у вас как будто сходятся, но Ваша вещь мне кажется пронзительнее и дальше уходящей – потому что, может быть, она исходит из более интимной глубины – и в этом смысле более символична. Больше всего меня поразила мысль о времени в символе. Да, и замечательна Ваша критика троического истолкования от «одного человека». И многое, многое другое \на полях\.

И, кроме прочего, как хорошо написано, твердо и ясно.

Могу признаться, что Достоевский мне чужд (в отличие от Анны), и эту чуждость я не могу объяснить аналитически. Ваше чтение «бытовой литургии» в «Бесах» мне кажется совершенно убедительным, и я понимаю грандиозность его замысла. И тем не менее, что-то противится принимать эту проповедь (не Ваше истолкование, а самого Ф.М.). Может быть, просто темперамент, обычное отталкивание от ажитации? Или прозрачность его символизма: ведь даже не считывая, как Вы, какого-то последовательного второго сюжета, мы не перестаем чувствовать, что все это *что-то значит*. Впрочем, это десятое дело – мое отношение к Достоевскому, от него не убудет.

Жалко, что Вы далеко – обсуждать на словах куда легче, чем писать. Но все-таки закончу тем же, с чего начала, – что Ваша работа замечательная.

Мы с Анной сейчас собираем мою рассыпанную прозу в книгу (Д. Строцев предполагает её издать). Знаете, я сказала француженке, которая перевела «Похвалу поэзии», что мне легче читать собственный текст в ее исполнении: веселее звучит. В нем нет этой заунывной ноты безответности, фатальной неуместности, как на русском языке. Можно точно предсказать, что она (эта эссеистика) не будет услышана, не войдет, как теперь говорят, в дискурс нашей словесности. А во французский входит. – Конечно, ответила Жислен, – это наверняка у нас вызовет обсуждение. Может быть, мое письмо слишком уклончиво по российским привычкам – и как раз в меру по европейским.

Я никуда пока не собираюсь уезжать кроме как в деревню, откуда сейчас и пишу Вам. От странствий я устала (в этом году я уже побывала в Финляндии, Америке и Англии – везде с лекциями). Мне хочется долгого, ничем не прерываемого однообразия. И видеть отца Димитрия на службе. Для меня Предание, о котором Вы пишете, почти полностью сошлось на нем – и я не перестаю удивляться неистощимости и непредсказуемости этого Предания. Быть под его взглядом (Ваш образ о символе) – ничто с этим не сравнится. Творческому азарту, правда, это отнюдь не способствует. Но способствует счастью не то что бы не по трудам и заслугам – а прямо вопреки им. Кстати, в одной из проповедей отец Димитрий сказал, что это и есть замысел Божий о нас – чтобы мы сказали «Хорошо нам!»

Я буду рада, если Вы еще напишете – и надеюсь, что мы увидимся.

Всего Вам доброго!

Ваша О.

Москва, 7 августа 1997

Дорогая Инна!

<...> Во время наших встреч с Папой (этот раз я вновь была на такой встрече), видя мой «римский эрос», заметил: «Но не нужно забывать Москву!» «Я вернусь, вернусь», – пообещала я.

Рассказывала ли я Вам подробно об этих встречах? Три участника в них постоянны: Патрик де Лобье (он преподает социальную доктрину Церкви в Женеве), С.С. Аверинцев и я. Кроме того, бывает еще двое-трое людей из России (Этот раз все они совсем из недружественных для меня кругов, молодые ретрограды à la Леонтьев). Эта последняя встреча была, вероятно, последней. На прощание Папа сказал мне: «Я много читал Вас, много думал. Я много узнал от Вас и о Вас. Спасибо за всё». Я ушла в слезах. (Извините, если я уже рассказывала, но это не перестает меня поражать как небывалое событие: прошлый раз, год назад, он сказал, что каждый день читает по одному моему стихотворению. А за столом, когда речь зашла об искусстве, об истощении христианского импульса в новейшем искусстве, я сказала: «А ведь это область самого легко достижимого единства. Ведь мы не обсуждаем догматику». «Зачем вам ее обсуждать? Вы ее воплощаете», – сказал Папа.

– Догматику?

– А что такое догматика, как не явление (manifestation) Софии, премудрости Божией? А разве вы не этим заняты?)

Это год назад. На этот раз разговоров было меньше, и господствовала печаль. Надежда на скорое осуществление “*Ut unum sint*”, так вдохновлявшая Папу, как будто рухнула после последних православных демаршей. Среди прочего он сказал: «Видимо, и мой преемник будет жить при духовном железном занавесе». Год назад услышать от него такое было бы невероятно. Мне горько видеть, что происходит в наших палестинах. Этот знакомый, слишком знакомый нам дух теперь вещает «от отеческих преданий». Невыносимо.

*Нищету свою и злобу,
Нетерпимость, рабский страх...*

Аверинцев был усталый и больной (он тяжело болеет весь год; Н.П. – его жена – говорит, что он дееспособен три часа в сутки). Его пафос – отвращение к новейшему повороту цивилизации, который он наблюдает у себя в Вене. В этом он начинает напоминать банально «правых», что обидно. Все, пережившие тоталитаризм, становятся «правыми». Это слишком предсказуемо. СС подарил Папе свои труды с латинской надписью, вроде «защитнику устоев...» Насколько я знаю, это не тот образ, в котором хочет видеть себя Папа. «Старое» и «новое» значат у него другое. Еще одна печальная фраза, которую он (Папа) произнес при последней встрече, как бы про себя: «Видимо, есть силы, которые хотят, чтоб все было по-старому, с недоверием, враждой, разделением... что за силы?..» Я хотела было ответить цитатой из его же энциклики: «Силы посредственности», – но вновь промолчала. Какое глубочайшее почтение и изумление он у меня вызывает! И тем, конечно, что, наверное, находит что-то в моих писаниях – что-то, на уловимость чего я не надеюсь, потому что оно в самом деле никогда не высказано – даже для себя: растворено во всем. Неужели об этом невысказанном он и говорит, что «узнал от меня»? Бывает ли такое?

Это к теме уклончивости.

Мне хочется осенью, вернувшись в Москву, найти Мосина (издателя «Символа») и предложить ему Вашу статью, если Вы не против. Мы с ним давно знакомы.

Надеюсь, что Вы благополучны, более или менее. Дай Вам Бог здоровья и силы.

Посылаю Вам образок, приобретенный после восхождения по «Святой Лестнице» в Риме (это лестница из дворца Пилата; по ее 28 ступеням поднимаются на коленях, а вверху этот очень древнего письма образ – увы, в нелепой оправе).

Ваша О.

Москва, 19 октября 1997

Дорогая Инна,

спасибо Вам за письмо. Вы напрасно обрываете себя, потому что мне очень интересны Ваши мысли – и темы Ваших мыслей. Позавчера у меня был в гостях Борис Хазанов (Вам приходилось его читать? Его «Я воскресение и жизнь» – единственная современная проза, которая мне всерьез нравится), и он тоже начал тему, которую Вы называете, но даже шире: не роман, а вообще проза в традиционном смысле, проза как *история* – возможна ли она теперь? Впрочем, мы ничего не решили. Я сказала только, что для меня она всегда была невозможна, проза с героем и историей, *fiction*. Что-то запредельное для меня – придумать героев и сюжет. Ведь стихи, во всяком случае, как я их понимаю, – совсем не *fiction*. Даже их составные, которые называют «тропами» или «метрами», – не *fiction*. Я думаю, у Вас кроме вопроса есть уже и какие-то соображения о конце сюжета. Интересно было бы узнать их.

Что до молитвы на английском, наверное, я не объяснила толком, откуда взяла этот образок, тогда эти слова приняли бы свой конкретный смысл. Такой образок можно получить, поднявшись по Святой Лестнице (Santa Scala) в Риме. Это лестница из дворца Пилата, по 28 ступеням которой поднимаются на коленях, а наверху ее – этот образ, как считают, один из древнейших и ближайшим образом связанный с Нерукотворным. Это оказалось куда труднее, чем я ожидала: дело в том, что на каждой ступени поднимающиеся читают про себя, вероятно, целый розарий, и где-то на седьмой ступени я думала, что просто не доживу до десятой (потому что выйти из общей череды невозможно). Но после десятой становится легче и легче. Многие приезжают в Рим с тем, чтоб подняться по этим ступеням, это покаянное действие. И к этим образкам относятся как к индульгенции.

Вы задаете вопрос, который, пожалуй, я не решаюсь задать себе: как я отношусь к католицизму. Года три назад я ответила бы просто: никак. Да, несмотря на Данте, св. Франциска и другие с юности важнейшие для меня вещи, происходящие отсюда. Только после встреч с Папой я чувствую, что *никак* к этому относиться безответственно. В это «никак» входило знание о различиях этих двух миров, почерпнутое как из литературы (в частности, Христа Яннараса, чью «гносеологическую ересь» – так он обозначает католическое сознание – мне приходилось обозревать), так и из непосредственного наблюдения над службой и над общим обликом католических людей (не только католических: из нашей удаленности они не кажутся такими уж далекими от англикан, например, для меня; протестантов же я просто близко не видела). Это «никак» относится к тому, что называют экзистенциальным отношением. Дело в том, что христианство я узнавала непосредственно в его православной воплощенности, включающей форму просфор, молитвенные позы и др. Только такое было для меня – не только что «христианским», но вообще относящимся к «вере». Этот фундаментализм, наверное, трудно понять тому, кто пришел к церковному опыту «личным» путем. И уже то, что католики по-другому держат руки при молитве, было достаточно для меня, чтобы держаться от этого подальше. Вся музыка, вся аура «латинской веры» была для меня бесконечно далекой. Я помню настоящий страх первого присутствия на «чужой» мессе.

Да, католичество относилось для меня к какому-то высшему ярусу культуры (что такое «Реквием»? музыка Моцарта или Верди, сказала бы я – но осознать, что это аналог нашей панихиды?!) и на этом ярусе со всем почтением принималось. Так что я вполне понимаю дикий ужас наших «православных» – вроде Вашего служки – перед латинянами, до всякого богословского толкования. Ужас перед «развоплощением» веры и допущением возможности ее другого воплощения. Я и сейчас не могу сказать, что *отношусь* к католицизму так или иначе. Но я поверила, что без *отношения* мы попадаем в тупик. В посланиях Папы есть простор, есть будущее, и после них даже в словах Вл. Антония (противника всякого серьезного диалога: в недавнем послании Собору он выразил это резко) я теперь чувствую какую-то стену, в которую упирается православная проповедь, и мне кажется, именно потому, что она теряет вселенскую меру. При всем, на мой взгляд, несравненном благородстве глубокого православия (не будем пока трогать его теперешних идеологизированных знаменосцев) у католиков есть эта мера вселенскости, которую мы забыли. И потом, теперь они переживают счастливый момент, конец контрреформации, конец агрессивно обороняющейся традиционности, точнее, консерватизма. Они смелее смотрят на окружающий мир потому, что приняли свое положение в нем как положение гонимого меньшинства. А у нас как раз в последние годы ожила анахроническая надежда государственной религии, грозящая новым обмирщением. С Анютой и другими, кто помнит прошлую ситуацию, мы уже ностальгически вспоминаем времена гонимой церкви. Как там было свободно, ясно, хорошо. И поскольку национализация православия неотделима от «борьбы с латинянами», мы едва ли не обречены в дружбе с ними видеть спасение для себя – спасение от конфессионального гетто, которое многие хотели бы выгородить. Это не высокая мотивация, не так ли? Но, как ни странно, сейчас она кажется важнее, чем выяснение тонких и глубоких расхождений в традициях, которые никак не свести к стилистике. И о которых я говорить не готова. Может быть, самое осязаемое среди них – отношение к миру как к творению. Оно выражается не в доктринальных положениях, а в реальности – например, в освящении вещества (воды, плодов и др.) которого нет, насколько я знаю, у католиков. Но, я повторяю, я ни с какой стороны не готова обсуждать эти различия. Теперешние – комсомольские – тенденции в православии возмущают меня больше, чем что-либо из того, что не нравится в «латинской вере». Между прочим, и Яннарас пересматривает теперь свою антизападную позицию – и возможно, тоже из-за того, с чем встречается у себя. Как-то в Париже он говорил о том, что мы должны сохранить *la noblesse de notre foi* – от плебейского рационализма Запада и дополняющего его иррационализма и «мистики». Какое же отношение имеет это благородство к вульгарному черносотенству и неоязычеству?

Вот что я пока могу ответить Вам об «отношении». Такой ответ нельзя назвать удовлетворительным, я понимаю. А к Папе я чувствую глубочайшее почтение и любовь. Кроме того, что он *Pontifex Maximus*, он человек изумляющей интенсивности внутренней жизни, такой, что хочется поклониться ему. Он открыт новому для себя – больше, чем кто-нибудь, кого мне приходилось встречать, он живет как бы в начале жизни. Это кажется чудом. Его это личный дар – или дар, поддержанный юностью римского христианства (как оно видится рядом с восточной старостью, старчеством), я не знаю. Но узнав его, я знаю, чего мне теперь недостает в нашей премудрости – юности и ее надежды, не на потустороннее, но на здешнее будущее. Помните у Рильке? «Все снова станет здешним». Может, эта юность, рыцарская юность, и наша безумная и умудренная старость-детскость составляют два дополняющих друг друга воплощения одной керигмы...

Знаете ли Вы о горе Великановых? Татьяна, сестра Анюты, погибла накануне Преображения. Через пару месяцев после их (Анютиних родителей) возвращения в Россию.

Я продолжаю кругосветные странствия. Успела побывать со времени последнего письма в Швеции, на острове Готланд. Там, на фестивале поэзии я встретила, кажется, двух настоящих поэтов, чего уже давно не жду. Старую гречанку и молодого пастора с заполярного острова. Не зная ни новогреческого, ни шведского и судя только по английским подстрочникам и авторскому чтению, не скажу наверняка. Но очень похоже.

Написала большую (на лист) статью об Аверинцеве – для НЛЮ. В этом декабре ему исполняется 60.

С попытками нового русского перевода Евангелия дело обстоит так. В самом деле, для детского издания рождественских глав я сделала перевод их по Луке и по Матфею – не адаптацию. Один из этих переводов издан книжкой в Петербурге год назад (Лука), другой – еще нет. Я с радостью подарила бы Вам это издание, но у меня нет ни одного экземпляра. Я могу как-нибудь прислать Вам текст перевода, если хотите. Пожалуй, он оказался ближе синодальному переводу, чем я ожидала. Изменения очень тонкие и больше всего касаются, кажется, ритма фраз. Но есть и существенные пересмотры, на которые я бы не решилась без консультаций с Анной. Аверинцев одобрил и назвал этот переводческий метод «таргумом». Он сам в последние годы занимается новым переводом – и многое уже сделал, но я не видела. Для серьезной работы над большим объемом нужна совсем другая подготовка, чем у меня. Начиная со знания греческого языка. Но мне кажется, что перевод должен быть авторским, потому что синодальный замутнен для меня отсутствием ясной перспективы, как обычно в коллективном труде. И все-таки – нужно признать – он лучше, чем те новые переводы, которые публиковались в последние годы. Я перечитывала скандальный перевод Льва Толстого – и мне кажется, там есть замечательные вещи, которым мог бы поучиться новый переводчик. Хотя языковой гениальности не научишься.

Если у Вас есть что-то новое, дайте, пожалуйста, как-нибудь познакомиться с этим. Мне очень интересно.

Пишите мне, пожалуйста!

Всего доброго Вам и всем Вашим «душатам».

24 сентября

Азаровка

Видите, с каким запозданием я отправляю это из Москвы?

19 октября 1997

Еще раз – всего Вам доброго!

Ваша ОС.

Москва, 25 января 1998, Татьянин день

Дорогая Инна,

простите, пожалуйста, что я так задержалась с ответом, пропустив Праздники и не поздравив Вас. Мне хотелось послать Вам письмо вместе с книгами Б. Хазанова. Но я до сих пор их не достала, и поэтому решила дальше не откладывать.

Прежде всего, спасибо за «Русский роман». По-моему, прекрасная вещь. Я даю ее в педагогических целях своим студентам. Я сама не много читала из бездны – как можно

предположить – написанного о романе и повествовательности, но мне кажется, Вам не о чем беспокоиться. У Вас есть какой-то врожденный собственный угол зрения – и можно ручаться, что велосипеда Вы не изобретаете. И вот я хочу сообщить Вам о том, что у нас возник замысел – боюсь, маниловский – издавать собственный журнал или альманах, еще с ненайденным названием, но с найденным девизом из Августина: «В главном единство, в сомнительном терпимость и во всем любовь». Издание не экуменическое, не клерикальное, не конфессиональное в привычных смыслах, а, условно называя, культур-христианское. С этим замыслом ко мне обратились мои бывшие студенты, теперь уже кончающие аспирантуру и прошедшие эпоху постмодернистских зигзагов. Теперь, как говорят, нам хочется «новой серьезности». Я ответила, что серьезность всегда одна и что я, пожалуй, поменяла бы эпитет с существительным: «серьезной новизны». Если мы продвинемся дальше замыслов, через заставы спонсоров, издателей и т.п. (чего мы и не пробовали пока), то мне очень хотелось бы видеть Вас автором этого безымянного и почти беспрограммного начинания. О таких вещах, как Ваши о Достоевском, я бы и мечтала. Вокруг этого замысла собираются Анна Великанова, В.В. Бибихин... Чтобы выйти из дурного «или-или»: или искривлявшийся постмодернизм – или репрессивный и дидактический фундаментализм. Аверинцев, когда я ему сообщила об этом, тоже был рад. В самом деле, у нас ведь есть круг, и он рассыпан по всему свету: вдруг да выйдет его собрать под одной обложкой?

Так что на всякий случай прошу Вашего согласия на участие.

Теперь темы Вашего письма. Я говорила с неодобрением о тепле? Честное слово, не помню. Может, в какой-то особой связи – скажем, с розановским теплом, или с чем-то похожим, противопоставляющим себя форме, строю – или «гласу холода тонка»? Не тепло и не холод сами по себе (как и множество других контрастных вещей) не вызывают у меня неприязни, а только определенный род тепла и определенный род холода (в который входит и «артистический холод» томасманновского типа, который Вы помянули). Или же обобщения, когда хотят сказать, что нечто и есть последняя реальность: например, в тепле все и дело. Я точно так же возразила бы, если бы говорили, что в холоде все и дело. *Дело во всем*, я думаю, хотя это эвристически ничтожное положение, я понимаю. Тем более, что это «во всем» равнозначно «ни в чем» (ни в чем из определенного).

Что касается «исключения личного», я имела в виду не более чем авторефлексию. Конечно, я не имела в виду того, что лично значительно, тогда в самом деле ничего не остается. Но с прояснением себя себе при помощи рассказа о себе другому я не согласна. Хотя это практика психоанализа и, считается, эффективная терапия, но, в конце концов, человек человеку не психотерапевт. Даже с исповедью и советами с духовником дело обстоит не так, что высказывание себя и есть целебная процедура. Помощь и тепло (вот видите?) происходит там явно не от самоизлияния, а от приятия чего-то другого, наподобие того, как земля принимает семя (образ исповеди как сеяния, который любит отец Димитрий). Впрочем, я ни в чем серьезном не могу быть советчиком, никаких своих слов не считаю за окончательные и совсем не хочу, чтобы их понимали слишком прямо. Вы скажете, что это побег от ответственности? Но я хочу, чтобы верили не самым словам, но их тону, их общему жесту, что ли, - который можно понимать совсем прямо. Так мне кажется.

Да, конечно, в 70-е годы Хайдеггер был открытием для меня. Он открывает открытое, непотаенное (как он этимологизирует греческое *a-letheia*, истина). И это в герметичной атмосфере тех лет звучало как песнь торжествующей любви. Смысл не как вещь, а как просвет. «О, на волю, на волю, как те!» – такой эмоциональной музыкой это сопровождалось для меня, как для многих, наверное. Я перевела его стихи, вещь менее состоятельную, чем его мысли, как он сам в них о них пишет:

*прелюдия бедная
к вечной песне поэтов
к давно
не слышанной...*

Дар песни – другой дар, хотя, как в тех же стихах говорится:
*от одного ствола
расходятся песня и мысль
и он:
благодарность внезапному знаку
в темноте судьбы.*

Но ветвь мысли – продолжая его образ – клонится вниз, ее пригибают плоды, а ветвь песни – цветущая и уходит вверх, как запах. «Плоды принадлежат человеку, но цветы – Богу», как сказал другой переведенный мной автор, Поль Клодель (я недавно закончила перевод его драмы, который должен выйти отдельной книгой). И песня, и человек, когда поет, и те, кто слушают. Они в этот миг принадлежат этому самому непотаенному. Вот, может быть, об этом жесте я и хотела сказать выше – о восхождении, как у дыма камины, «яко кадило пред Тобою». Извините за патетичность.

Извините и за то, что я не подобрала своих работ и не посылаю их теперь – о Яннарасе, об Аверинцеве. Не успеваю, нерасторопна и ленива.

С запозданием все-таки поздравляю Вас с начавшимся годом, с наступившим Рождеством и Богоявлением. Дай Вам Бог всего доброго!

Буду рада Вашему письму – и пожалуйста, не обижайтесь.

Ваша О.

Посылаю календарик с нашим храмом, о котором Вы так хорошо написали.